



АНТОН ПАВЛОВИЧ

ЧЕХОВ

*РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзивная классика (АСТ)

АНТОН ЧЕХОВ

**Руководство для
желающих жениться**

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Чехов А. П.

Руководство для желающих жениться / А. П. Чехов —
«Издательство АСТ», — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-116270-2

Антон Павлович Чехов – один из величайших писателей и драматургов не только отечественной, но и мировой литературы, тончайший психолог, ироничный юморист, непревзойденный певец загадочной русской души во всем ее эмоциональном диапазоне, в котором от смешного до драматического – всего один шаг. Со школьной скамьи мы знаем автора как критика, бичующего пороки общества. Но в этой книге собраны рассказы будто другого Чехова, рисующего жизнь человека в юмористических красках, способного увидеть смешное в обыденном, глупом или невежественном.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-116270-2

© Чехов А. П.
© Издательство АСТ

Содержание

Руководство для желающих жениться	5
Нервы	7
Дачники	10
Стража под стражей	12
Вверх по лестнице	15
Моя «она»	16
Мои жены	17
Надул	21
Интеллигентное бревно	22
Рыбье дело	25
Симулянты	27
Налим	29
Из воспоминаний идеалиста	32
В аптеке	35
Не судьба!	38
Необходимое предисловие	41
Нечто серьезное	42
В вагоне	43
Мыслитель	45
Заблудшие	47
Егерь	50
Жених и папенька	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Антон Павлович Чехов

Руководство для желающих жениться

Руководство для желающих жениться (Секретно)

Так как предмет этой статьи составляет мужскую тайну и требует серьезного умственного напряжения, на которое весьма многие дамы не способны, то прошу отцов, мужей, околоточных надзирателей и проч. наблюдать, чтобы дамы и девицы этой статьи не читали. Это руководство не есть плод единичного ума, но составляет квинтэссенцию из всех существующих оракулов, физиономик, кабалистик и долголетних бесед с опытными мужьями и компетентнейшими содержательницами модных мастерских.

Введение. – Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Холостому завязывает галстук горничная, а женатому жена. Брак хорош также своею доступностью. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцем... Исключение составляют только безумные и сумасшедшие, дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно.

Руководство I. – Ухаживая за девицей, обращай внимание прежде всего на наружность, ибо по наружности узнается характер особы. В наружности различай: цвет волос и глаз, рост, походку и особые приметы. По цвету волос женщины делятся на блондинок, брюнеток, шатенок и проч. *Блондинки* обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами и жалеют животных. Характером они прямолинейны, в убеждениях строго консервативны, с буквой *ѣ* не в ладу. К чужим любвам они относятся чутко, в своей же собственной любви они холодны, как рыбы. В самую патетическую минуту блондинка может зевнуть и сказать: «Не забыть бы послать завтра за коленкором!» Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовиты, чадолюбивы и плаксивы. Мужьям неверности не прощают, сами же изменяют охотно. Жены-блондинки обыкновенно мистичны, подозрительны и считают себя страдальцами. *Брюнетки* не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, капризны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам горничных. Начинают «не обращать внимания» на гадких мужчин уже с 12 лет, учатся плохо, ненавидят классных дам, любят романы, причем пропускают описания природы и прочитывают объяснения в любви по пять раз. Они пылки, страстны и любят с азартом, сломя голову, задыхаясь... Жена-брюнетка – это целая инквизиция. С одной стороны, такая страсть, что чертям тошно, с другой – капризы, наряды, бесшабашная логика, визг, писк... С изменою мужей мирятся скоро, платя им тою же монетою. *Шатенки* от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли. Составляют нечто среднее между теми и другими. Считают себя брюнетками. *Рыжие* лукавы, лживы, злы, коварны... Любви без коварства не понимают. Обыкновенно бывают очень хорошо сложены и имеют на всем теле великолепную розовую кожу. Говорят, что черти и лешие обязательно женятся на рыжих. Где лживость, там трусость и малодушие. Достаточно хорошенько прикрикнуть на рыжую («Я тебе!»), чтобы она свернулась в калачик и полезла целоваться. Не забывай, что Мессалина и Нана были рыжие. *Прическа* при выборе жены имеет тоже немалое значение. Волоса гладко причесанные, прилизанные, с белым пробором означают простоватость, ограниченность желаний... Такая прическа наичаще бывает у швеек, лавочниц и купеческих дочек. Подстриженная прядь волос, спущенная на лоб, означает суетную мелочность,

ограниченность ума и похотливость. Этою прядью стараются обыкновенно скрыть узкий лоб... Шиньон и вообще орнаменты из чужих волос говорят за безвкусие, отсутствие фантазии и о том, что в прическу вмешивалась мамаша. Волоса, зачесанные сзади наперед, предполагают в женщине желание нравиться не только спереди, но и сзади. Такая прическа, если она не вершится тяжелой вавилонской башней, означает вкус и легкость нрава. Вьющиеся волосы говорят за игривость и художественность натуры. Прическа небрежная, всклоченная предполагает сомнение или душевную леность. Под стриженными волосами скрывается образ мыслей. Если женщина седа или лыса и в то же время желает выйти замуж, то, значит, у нее много денег. Чем меньше в прическе шпилек, тем женщина изобретательнее и тем вернее, что у нее не чужие волосы. Теперь *о цвете глаз*. Голубые глаза с поволокой означают верность, покорность и кротость. Голубые выпученные бывают наичаще у женщин-шулеров и продажных. Черные глаза означают страстность, вспыльчивость и коварство. Заметь, что у умных женщин редко бывают черные глаза. Серые бывают у щеголих, хохотуний и дурочек. Карие предполагают любовь к сплетням и зависть к чужим нарядам. *Рост* выбирай средний. Высокие женщины грубоваты и больно бьют, маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай: эти злы и ехидны. *Походка* торопливая, с оглядками, говорит о ветрености и легкомыслии. Походка ленивая бывает у женщин, сердце которых уже занято, – тут ты не пообедаешь. Походка утичья, с перевальцем и виляньем турнюра, есть признак добродушия, податливости и иногда тупости. Походка горделивая, лебединая бывает у *этих* дам и содержанок. Чем спесивее походка, тем, значит, старше и богаче содержатель. Такая походка у девиц означает самомнение и ограниченность. Если барыня не идет, а плывет, как пава, то поворачивай оглобли: она накормит, утешит, но непременно возьмет под башмак. *Особые приметы* не многочисленны. Ямочки на щеках означают кокетство, тайные грешки и добродушие. Ямочки на щеках и прищуренные глаза обещают многое, но не для платониста. Усики говорят о бесплодии. Длинные ногти бывают у белоручек. Слившиеся брови означают, что данная особь будет строгой матерью и бешеной тещей. Веснушки наичаще замечаются у рыжих чертовок, рабынь и дурочек. Пухленькие и сдобненькие барышни с одутлыми щеками и красными руками наивны, в слове *еще* делают четыре ошибки, но зато они скоро выучиваются печь вкусные пироги и шить мужу бархатные жилетки.

Руководство II. – Не могли жениться без приданого. Жениться без приданого всё равно что мед без ложки, Шмульт без пейсов, сапоги без подошв. Любовь сама по себе, приданое само по себе. Запрашивай сразу 200 000. Ошеломив цифрой, начинай торговаться, ломаться, канителить. Приданое бери обязательно *до* свадьбы. Не принимай векселей, купонов, акций и каждую сторублевку ощупай, обнюхай и осмотри на свет, ибо нередки случаи, когда родители дают за своими дочерьми фальшивые деньги. Кроме денег, выторгуй себе побольше вещей. Жена, даже плохая, должна принести с собою: а) побольше мебели и рояль; б) одну перину на лебяжьем пуху и три одеяла: шёлковое, шерстяное и бумажное; в) два меховых салопы, один для праздников, другой для будней; г) побольше чайной, кухонной и обеденной посуды; д) 18 сорочек из лучшего голландского полотна, с отделкой; е) кофту из такого же полотна с кружевной отделкой; ж) кофту из нансу; з) пар панталон из того же полотна и столько же пар из английского шифона; и) юбок из мадаполама с прошивками и обшивками; пеньюар из лучшей батист-виктории; 4 полупеньюара из батист-виктории; ж) пар панталон канифасовых. Простынь, наволочек, чепчиков, чулков, бумазейных юбок, подвязок, скатертей, платков и проч. должно быть в достаточном количестве. Всё это сам осмотри, сочти, и чего не достанет, немедленно потребуй. Детского белья не бери, так как существует примета: есть белье – детей нет, дети есть – белья нет; з) вместо платьев, фасон коих скоро меняется, требуй материи в штуках; и) без столового серебра не женись.

Женившись, будь с женою строг и справедлив, не давай ей забываться и при каждом недоразумении говори ей: «Не забывай, что я тебя осчастливил!»

Нервы

Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что пережитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе (мадам Ваксина уехала к Троице), Ваксин стал невольно припоминать всё слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в одних только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. С мыслей незаметно перешли к духам, от духов к привидениям, от привидений к заживо погребенным... Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечко и показал барышням, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего Клавдия Мироновича и мысленно спросил у него: «Не пора ли мне дом перевести на имя жены?» – на что дядя ответил: «Во благовремении всё хорошо».

«Много таинственного и... страшного в природе... – размышлял Ваксин, ложась под одеяло. – Страшны не мертвецы, а эта неизвестность...»

Пробило час ночи. Ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироныча, висевший против кровати.

«А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень? – мелькнуло в голове Ваксина. – Нет, это невозможно!»

Привидения – предрассудок, плод умов незрелых, но тем не менее все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп, заходили образы умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы... Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он гнал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко.

«Чёрт знает что... Боишься, словно маленький... Глупо!»

«Чик... чик... чик» – стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный, заунывный, за душу тянущий... По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит, точно дядя вышел из рамы и склонился над племянником... Ваксину стало невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы и притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дернул за сонетку.

– Деметрий Осипыч, was wollen Sie?¹ – послышался через минуту за дверью голос гувернантки.

– Ах, это вы, Розалия Карловна? – обрадовался Ваксин. – Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы...

– Хаврилу ви сами в город отпустил, а Глафира куда-то с вечера ушла... Никого нет дома... Was wollen Sie doch?²

– Я, матушка, вот что хотел сказать... Тово... Да вы войдите, не стесняйтесь! У меня темно...

В спальную вошла толстая, краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе.

– Садитесь, матушка... Видите ли, в чем дело... – «О чем бы ее спросить?» – подумал Ваксин, косясь на портрет дяди и чувствуя, как душа его постепенно приходит в покойное состояние. – Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас... Когда завтра человек отпра-

¹ Чего вы хотите? (нем.)

² Так чего же вы хотите? (нем.)

вится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он... тово... зашел гильз купить... Да вы садитесь!

– Гильз? Хорошо! Was wollen Sie noch?³

– Ich will...⁴ Ничего я не will, но... Да вы садитесь! Я еще что-нибудь надумаю...

– Неприлично девице стоять в мужчинской комнат... Ви, я вижу, Деметрий Осипыч, шалюн... насмешкин... Я понимаю... Из-за гильз шеловека не будят... Я понимаю...

Розалия Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенный беседой с ней и стыдась своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут десять он чувствовал себя сносно, но потом в его голову полезла опять та же чепуха... Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Ваксина казалось, что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза.

– Позвоню ей опять, чёррт бы ее взял... – порешил он. – Скажу ей, что я болен... Попрошу капель.

Ваксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз, и словно в ответ на его звон, зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальни и, крестясь, браня себя за малодушие, полетел босой и в одном нижнем к комнате гувернантки.

– Розалия Карловна! – заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. – Розалия Карловна! Вы... спите? Я... тово... болен... Капель!

Ответа не последовало. Кругом царил тишина...

– Я вас прошу... понимаете? Прошу! И к чему эта... щепетильность, не понимаю, в особенности если человек... болен? Какая же вы, право, цирлих-манирлих. В ваши годы...

– Я вашей жена буду говорил... Не дает покой честный девушк... Когда я жил у барон Анциг и барон захотел ко мне приходиться за спишки, я понимаю... я сразу понимаю, какие спишки, и сказала баронесс... Я честный девушк...

– Ах, на какого чёрта сдалась мне ваша честность? Я болен... и капель прошу. Понимаете? Я болен!

– Ваша жена честный, хороший женцин, и вы должны ее любить. Ja!⁵ Она благородный! Я не желаю быть ее враг!

– Дура вы, вот и всё! Понимаете? Дура!

Ваксин оперся о косяк, сложил руки накрест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил, стоять же у дверей гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробыло два часа, а страх всё еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно и из каждого угла глядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом к косяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дернул его сзади за сорочку и тронул за плечо...

– Чёрт подери... Розалия Карловна!

Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала. Маленький ночник освещал рельефы ее полновесного, дышащего здоровьем тела. Ваксин вошел в комнату и сел на плетеный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче.

«Пусть спит, немчура... – думал он. – Посижу у нее, а когда рассветет, выйду... Теперь рано светает».

В ожидании рассвета, Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался.

³ Чего вы еще хотите? (нем.)

⁴ Я хочу... (нем.)

⁵ Да! (нем.)

«Что значит нервы, однако! Человек развитой, мыслящий, а между тем... чёрт знает что! Совесть даже»...

Скоро, прислушавшись к тихому, мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился...

В шесть часов утра жена Ваксина, воротившись от Троицы и не найдя мужа в спальне, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидела картину: на кровати, вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а на сажень от нее, на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был бос и в одном нижнем. Что сказала жена и как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся, предоставляю изображать другим. Я же, в бессилии, слагаю оружие.

Дачники

По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель...

– Как хорошо, Саша, как хорошо! – говорила жена. – Право, можно подумать, что всё это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди... цивилизация... А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?

– Да... Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя... Что у нас сегодня к ужину готовили?

– Окрошку и цыпленка... Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.

Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами...

– Поезд идет! – сказала Варя. – Как хорошо!

Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.

– Проводим поезд и пойдем домой, – сказал Саша и зевнул. – Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!

Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи...

– Ах! Ах! – послышалось из одного вагона. – Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ах!

Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

– А вот и мы, а вот и мы, дружок! – начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. – Чай, заждался! Небось, бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа... дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих...

И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:

– Это они к тебе приехали... чёрт бы их побрал!

– Нет, к тебе! – отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. – Это не мои, а твои родственники!

И обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:

– Милости просим!

Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:

– Милости просим! Милости просим, дорогие гости!

Стража под стражей (Сценка)

Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на бедного осла вают всё, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью: кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами... так что навьюченный азинус представляет из себя громадный, бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда, Алексей Тимофеевич Балбинский, когда после третьего звонка спешил занять место в вагоне. Он был нагружен с головы до ног... Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыл с чем-то, женская тальма и... чёрт знает чего только на нем не было! С его красного лица лился ручьями пот, ноги гнулись, в глазах светилось страдание. За ним с пестрым зонтичком шла его жена Настасья Львовна, маленькая весноватая блондинка с выдающеюся вперед нижнюю челюстью и с выпуклыми глазами – точь-в-точь молодая щука, когда ее тянут крючком из воды... Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамьи багаж, прокурор вытер со лба пот и направился к выходу.

– Куда это ты? – спросила его жена.

– Хочу, душенька, в вокзал сходить... рюмку водки выпить...

– Нечего там выдумывать... Сиди...

Балбинский вздохнул и покорно сел.

– Возьми на руки эту корзину... Тут посуда...

Балбинский взял на руки большую корзину и с тоской взглянул на окно... На четвертой станции жена послала его в вокзал за горячей водой, и тут около буфета он встретился со своим приятелем, товарищем председателя Плинского окружного суда Фляжкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу.

– Батенька, да что же это такое? – налетел на него Фляжкин. – Ведь это свинство по меньшей мере. Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в III класс понесла! Зачем вы в III классе едете? Денег у вас нет, что ли?

Балбинский махнул рукой и замигал глазами.

– Мне теперь всё равно... – проворчал он, – хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу да, кажется, кончу тем, что с собой порешу... под поезд брошусь... Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня моя благоверная! То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой! Погода великолепная... воздух этот... ширь, природа... все условия для безмятежного жития. Одна мысль, что за границу едем, должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг... Так нет! Нужно было злему року навязать мне на шею это сокровище! И ведь какая насмешка судьбы! Нарочно, чтоб избавиться от супруги, придумал я болезнь печенок... за границу хотел удрать... Всю зиму о свободе мечтал и во сне и наяву себя одиноким видел. И что же? Навязалась со мной ехать! Уж я и так и этак – ничего! «Поеду да поеду», хоть ты тресни! Ну, вот, поехали... Предлагаю ехать во II классе... Ни за что! Как это, мол, можно так тратиться? Я ей все резоны представляю... Говорю, что и деньги у нас есть, и престиж наш падет, ежели мы будем в III классе ездить, что и душно, и вонь... не слушает! Бес экономии обуял... Теперь хоть этот багаж взять... Ну для чего мы такую массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая дрянь? Мало того, что в багажный вагон десять пудов сдали, мы еще в нашем вагоне четыре скамьи заняли. Кондуктора то и дело просят расчистить место для публики, пассажиры сердятся, она с ними в пререкания вступает... Совестно! Верите ли? В огне горю! А отойти от нее – сохрани бог! Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около нее и на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот за горячей

водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде, небось, свидетели и подсудимые мои едут! Пропал к чёрту престиж! А это, батенька, впредь мне наука! Чтоб знал, что значит личная свобода! Иной раз увлечешься и, знаете ли, ни за что ни про что человечину под стражу упечешь. Ну, теперь я понимаю... проникся... Понимаю, что значит быть под стражей! Ох, как понимаю!

– Небось, рады бы пойти на поруки? – усмехнулся Фляжкин.

– С восторгом! Верите ли? При всей своей бедности десять тысяч залога внес бы... Но однако бегу... Небось, уж горячку порет... Быть головомойке!

В Вержболово Фляжкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов III класса сонную физиономию Балбинского.

– На минуточку, – закивал ему прокурор. – Моя еще спит, не просыпалась. Когда она спит, я относительно свободен... Выйти-то из вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить... Хоть за это спасибо. Ах, да! Я вам не говорил? У меня радость!

– Какая?

– Две картонки и один мешочек у нас украли... Всё-таки легче... Вчера съели гуся и все пирожки... Нарочно больше ел, чтоб меньше багажа осталось... Да и воздух же у нас в вагоне! Хоть топор вешай... Пфф... Не езда, а чистая мука...

Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу.

– Варварка ты моя! – зашептал он. – Мучительница, Иродиада ты этакая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь от тебя, Ксантиппа? Верите ли, Иван Никитич? Иной раз закрою глаза и мечтаю: а что, если бы да кабы она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Кажется, в каторгу бы упек! Но... просыпается... Тссс...

Прокурор в мгновение ока соорудил невинную физиономию и взял на руки корзину.

В Эйдкунене, идя за горячей водой, он глядел веселее.

– Еще две картонки украли! – похвастался он перед Фляжкиным. – И уже мы все калачи съели... Все-таки легче...

В Кенигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляжкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом.

– Голубчик! Иван Никитич! Дай обнять! Извини, что я тебе «ты» говорю, но я так рад, так ехидно счастлив! Я сво-бо-ден! Понимаешь? Сво-бо-ден! Жена бежала!

– То есть как бежала?

– Вышла ночью из вагона, и до сих пор ее нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон, или, быть может, на станции где-нибудь осталась... Одним словом, нет ее!.. Ангел ты мой!

– Но послушай же, – встревожился Фляжкин. – В таком случае телеграфировать надо!

– Храни меня создатель! То есть так я теперь эту свободу чувствую, что описать тебе не могу! Пойдем по платформе пройдемся... на свободе подышим!

Приятель вышел из вагона и зашагал по платформе. Прокурор шагал и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями: «Как хорошо! Как легко дышится! Неужели же есть такие люди, которым всегда так живется?»

– Знаешь что, брат? – решил он. – Я сейчас к тебе в вагон переберусь. Развалимся и заживем на холостую ногу.

И прокурор опрометью побежал в свой вагон за вещами. Минуты через две он вышел из своего вагона, но уже не сияющий, а бледный, ошеломленный, с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце.

– Вернулась! – махнул он рукой, встретив вопросительный взгляд Фляжкина. – Оказывается, что ночью вагоны перепутала и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат!

Прокурор остановился перед Фляжкиным и вперил в него взгляд, полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании.

– Знаешь что? – сказал ему Фляжкин, нежно беря его за пуговицу. – Я на твоём месте... сам бы бежал...

– То есть как?

– Беги – вот и всё... А то ведь этак зачахнешь, на тебя гляючи!

– Бежать... бежать... – задумался прокурор. – А ведь это идея! Так я, братец, вот что сделаю: сяду на встречный поезд и айда! Скажу ей потом, что по ошибке сел. Ну, прощай... В Париже встретимся...

Вверх по лестнице

Провинциальный советник Долбоносов, будучи однажды по делам службы в Питере, попал случайно на вечер к князю Фингалову. На этом вечере он, между прочим, к великому своему удивлению, встретил студента-юриста Щепоткина, бывшего лет пять тому назад репетитором его детей. Знакомых у него на вечере не было, и он от скуки подошел к Щепоткину.

– Вы это... тово... как же сюда попали? – спросил он, зевая в кулак.

– Так же, как и вы...

– То есть, положим, не так, как я... – нахмурился Долбоносов, оглядывая Щепоткина. – Гм... тово... дела ваши как?

– Так себе... Кончил курс в университете и служу чиновником особых поручений при Подоконникове...

– Да? Это на первых порах недурно... Но... ээ... простите за нескромный вопрос, сколько дает вам ваша должность?

– Восемьсот рублей...

– Пф!.. На табак не хватит... – пробормотал Долбоносов, опять впадая в снисходительно-покровительственный тон.

– Конечно, для безбедного прожития в Петербурге этого недостаточно, но кроме того ведь я состою секретарем в правлении Угаро-Дебоширской железной дороги... Это дает мне полторы тысячи...

– Дааа, в таком случае, конечно... – перебил Долбоносов, причем по лицу его разлилось нечто вроде сияния. – Кстати, милейший мой, каким образом вы познакомились с хозяином этого дома?

– Очень просто, – равнодушно отвечал Щепоткин. – Я встретился с ним у статс-секретаря Лодкина...

– Вы... бываете у Лодкина? – вытаращил глаза Долбоносов...

– Очень часто... Я женат на его племяннице...

– На пле-мян-ни-це? Гм... Скажите... Я, знаете ли... тово... всегда желал вам... пророчил блестящую будущность, высокоуважаемый Иван Петрович...

– Петр Иванович...

– То есть, Петр Иванович... А я, знаете ли, гляжу сейчас и вижу – что-то лицо знакомое... В одну секунду узнал... Дай, думаю, позову его к себе отобедать... Хе-хе... Старику-то, думаю, небось, не откажет! Отель «Европа», № 33... от часу до шести...

Моя «она»

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползновения удрать от нее, – связь, стало быть, крепкая, прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя «она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю... Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи... Детей у нас пока нет... Хотите знать ее имя? Извольте... Оно поэтично и напоминает Лилию, Лелю, Нелли...

Ее зовут – *Лень*.

Мои жены (Письмо в редакцию – Рауля Синей Бороды)

Милостивый государь!

Оперетка «Синяя Борода», возбуждающая в Ваших читателях смех и созидаящая лавры гг. Лодию, Чернову⁶ и проч., не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление... Искренно жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и облачать мои семейные тайны, я коснусь только частных, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности – возмутительная ложь, которую и считаю нужным, м. г., опровергнуть через посредство Вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в нагло-й лжи, а г. Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, м. г., я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними, но виноват ли я, что homo sum et humani nihil a me alienum puto?⁷ Кроме права выбора, над человеком тяготеет еще «закон необходимости». Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился и во всё время моей женатой жизни денно и ночно завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, тестя, свекровь... и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что всё это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы – *post primam noctem*⁸. Чтобы не взводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не *pour plaisir*⁹, как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать прежде, чем я решался угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками! Не блажь, не плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, не жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая, раздирающая опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками. (Да простят мне женщины! Револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором.) Из нижеприведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и Вам, м. г., станет очевидным, насколько не опереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой: «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню».

⁶ Лодий, Чернов – актеры театра «Эрмитаж», принадлежавшего М. В. Лентовскому. П. А. Лодий (1855–1920), известный певец-тенор, исполнял роль Синей Бороды; А. Я. Чернов (р. 1858), певец-баритон; в 1876 г. пел на сцене Таганрогского театра.

⁷ я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

⁸ после первой брачной ночи (лат.).

⁹ ради удовольствия (франц.).

№ 1. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать – редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов! Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за всё время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения: когда нужно было плакать, она плакала, когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый, молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но, держу пари на что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила... Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь... Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она если спала, то видела меня во сне, если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах!

Ни у Тестова, ни в Ново-Московском никогда не едал я того, что умели готовить ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушаньем, было для нее одним из ужасных страданий... Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы... Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара... и сколько мучительных секунд сидит в ее памяти! Когда после приятельской попойки я возвращался домой «под шофе» и, благодумствуя, располагался на диване с романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая!

Золотая муха только тогда ласкает взор и приятна, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую и... потом улетает в пространство, но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос – и всё это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишитесь способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли, заездили меня. В конце концов я не вынес... Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и голубиная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее...

№ 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько эта была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов, я же нимало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить... Жизнь ее сплошь состояла

из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс... От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша... Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за «медведя» Рауля. Толковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. *Volens-nolens*¹⁰, чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться... Скоро такая жизнь утомила меня, и я послал за доктором...

№ 3. Высокая стройная блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего «собственного бога» и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной...

– Нечестно, – говорила она мне, – носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного!

«Боже, отчего она страдает? Что за причина? – спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. – О, эти мне гражданские скорби!»

Человек любит загадки – вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была решена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл: «Желание спасти бедного рара, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка: я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульцинеи своей он больше уж не видел... Вместе со своими принципами она отправилась *ad patres*¹¹.

№ 4. Девушка с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тыс. приданого внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь пред тобою...». Когда она не спала и не ела, она играла, когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы (я теперь без жил), а слова любимого романса «стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх: пришел доктор, и гаммы кончились...

№ 5. Длинноногая гладковолосая женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно: черное платье с узкими рукавами, широкий пояс... во всей одежде какая-то плоскость, уютность – ни одного рельефа, ни одной небрежной складки! Понравилась она мне своею оригинальностью: была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Миллей и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об «умном»... Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка... Беседуя с нею в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралеем... Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны!

Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала откры-

¹⁰ Волей-неволей (*лат.*).

¹¹ к праотцам (*лат.*).

тие, что мой череп напоминает монгольский; тут же кстати научила меня измерять черепа и доказала, что френология как наука никуда не годится. Я слушал, слушал... Дальнейшая наша жизнь состояла из слушанья... Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю... Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе...

– Не мешай мне... Я думаю... – говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями...

Через неделю же после свадьбы в моей башке сидело убеждение: умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы! Вечно чувствовать себя как на экзамене, видеть перед собою серьезное лицо, бояться сказать глупое слово, согласитесь, ужасно тяжело! Как вор, подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины!

№ 6. Девочка, прельстившая меня своею наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала грандиозом. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за два дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я кстати уж отравил и ее...

№ 7. Эта умерла по ошибке: выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. (Тещу отравляю я нашатырным спиртом.) Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе...

Я кончил... Думаю, м. г., что всего вышеписанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и г. Лентовского, попавшего впросак, вероятно, по неведению. Во всяком случае жду от г. Лентовского печатного разъяснения. Примите и проч.

Ратификовал: А. Чехонте.

Надул (Очень древний анекдот)

Во время оно в Англии преступники, присужденные к смертной казни, пользовались правом при жизни предавать свои трупы анатомам и физиологам. Вырученные таким образом деньги они отдавали своим семьям или же пропивали. Один из них, уличенный в ужасном преступлении, позвал к себе ученого медика и, вдоволь поторговавшись с ним, продал ему собственную особу за две гинеи. Но получивши деньги, он вдруг принялся хохотать...

– Чего вы смеетесь?! – удивился медик.

– Вы купили меня, как человека, который должен быть повешен, – сказал, хохоча, преступник, – но я надул вас! Я буду сожжен! Ха-ха!

Интеллигентное бревно (Сценка)

Архип Елисеич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочел: «Мировой судья... округа... участка приглашает вас и т. д. и т. д. в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова... Мировой судья П. Шестикрылов».

– Это от кого же? – поднял глаза Помоев на рассыльного.

– От г. мирового судьи-с, Петра Сергеича-с... Шестикрылова-с...

– Гм... От Петра Сергеича? Зачем же это он меня приглашает?

– Должно, на суд... Там написано-с...

Помоев прочел еще раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами...

– Псс... в качестве обвиняемого... Забавник этот Петр Сергеич! Ну ладно, скажи: хорошо! Пусть только фриштик получше приготовит... Скажи: буду! Наталье Егоровне и деточкам кланяйся!

Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены поручик Ниткин, приехавший к нему в отпуск.

– Посмотри-кася, какую цидулу мне Петька Шестикрылов прислал, – сказал он, подавая Ниткину повестку. – К себе в четверг зовет... Поедешь со мной?

– Да он тебя не в гости зовет, – сказал Ниткин, прочитав повестку. – Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого... Судить тебя будет...

– Меня-то? Псс... Молоко у него на губах еще не обсохло, чтоб меня судить... Мелко плавает... Это он так, в шутку...

– Вовсе не в шутку! Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано: в оскорблении действием... Ты Гришку побил, вот и суд.

– Чудак ты, ей-богу! Да как же он может меня судить, ежели мы с ним, можно сказать, друзья? Какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, и чёрт знает чего только не делали? И какой он судья? Ха-ха! Петька – судья! Ха-ха!

– Смейся, смейся, а вот он как засадит тебя, не по дружбе, а на основании законов, под арест, так не до смеха будет!

– Ты очумел, брат! Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил? Поедем к нему в четверг, вот и увидишь, какие там законы...

– А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя и его в неловкое положение поставишь... Пусть решает заочно...

– Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет... Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел... Кстати же давно у него не был... неловко...

В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестикрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством.

– Здорово, Петюха! – сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку. – Судишь помаленьку? Крючкотворствуешь? Суди, суди... я погожу, погляжу... Это, рекомендую, брат моей жены... Жена здорова?

– Да... здорова... Посидите там... в публике...

Пробормотавши это, судья покраснел. Вообще начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых; когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, проваливающихся от конфуза сквозь землю. Помоев отошел от стола и сел на передней скамье рядом с Ниткиным.

– Важности-то сколько у бестии! – зашептал он на ухо Ниткину. – Не узнаешь! И не улыбнется! В золотой цепи! Фу ты, ну ты! Словно и не он у меня на кухне сонную Агашку чернилами разрисовал. Потеха! Да нешто такие люди могут судить? Я тебя спрашиваю: могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами, солидный... чтоб, знаешь, страх внушал, а то посадили какого-то и – на, суди! Хе-хе...

– Григорий Власов! – вызвал мировой. – Господин Помоев!

Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой тальей, в полосатых брючках, надетых в короткие рыжие голенища, и стал рядом с Помоевым.

– Г-н Помоев! – начал мировой, потупя глаза. – Вы обвиняетесь в том, что-о-о... оскорбили действием вашего служащего... вот Григория Власова. Признаете вы себя виновным?

– Еще бы! Да ты давно таким серьезным стал? Хе-хе...

– Не признаете? – перебил его судья, ерзая от конфуза на стуле. – Власов, расскажите, как было дело!

– Очень просто-с! Я у них, изволите ли видеть, в лакеях состоял, в рассуждении, как бы камельдинер... Известно, наша должность каторжная, ваше в-е... Они сами встают в девятом часу, а ты будь на ногах чуть свет... Бог их знает, наденут ли они сапоги, или щиблеты, или, может, целый день в туфлях проходят, но ты всё чисть: и сапоги, и щиблеты, и ботинки... Хорошо-с... Зовут это они меня утром одеваться. Я, известно, пошел... Надел на них сорочку, надел брючки, сапожки... всё, как надо... Начал надевать жилет... Вот они и говорят: «Подай, Гришка, гребенку. Она, говорят, в боковом кармане в сюртучке». Хорошо-с... Роюсь я это в боковом кармане, а гребенку словно чёрт слопал – нету! Рылся-рылся и говорю: «Да тут нет гребенки, Архип Елисеич!» Они нахмурились, подошли к сюртуку и достали оттуда гребенку, но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. «А это же что? Не гребенка?» – говорят, да тык меня в нос гребенкой. Так всеми зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носу шла. Сами изволите видеть, весь нос распухши... У меня свидетели есть. Все видели.

– Что вы скажете в свое оправдание? – поднял мировой глаза на Помоева.

Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, опять на судью и побагровел.

– Как я должен это понимать? – пробормотал он. – За насмешку?

– Тут никакой над вами насмешки нет-с, – заметил Гришка, – а вам по чистой совести. Не давайте воли рукам.

– Молчи! – застучал Помоев палкой о пол. – Дурак! Шваль!

Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию.

– Прерываю заседание на пять минут! – крикнул он по дороге.

Помоев пошел за ним.

– Послушай, – начал мировой, всплескивая руками, – скандал ты мне устроить хочешь, что ли? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки да лакеи в своих показаниях будут тебя чистить, осла этакого? Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дела решить, что ли?

– Я же у него и виноват! – растопырил руки Помоев. – Сам комедию эту устроил и на меня же сердится! Посади этого Гришку под арест, и... и всё!

– Гришку под арест! Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался! Ну как же это можно Гришку под арест!

– Посади, вот и всё! Не меня же сажать!

– Прежние времена теперь, что ли? Гришку он побил и Гришку же под арест! Удивительная логика! Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве?

– Отродясь я не судился и судьей не был, а так я понимаю, что явись ко мне с жалобой на тебя этот самый Гришка, я так бы его с лестницы спустил, что и внукам запретил бы жаловаться, а не то чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что

насмеяться хочешь, прыть свою показать... вот и всё! Жена, как прочла повестку да как увидела, что ты всем кухаркам и скотницам повестки прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так, Петя! Так друзья не делают.

– Но пойми же ты мое положение!

И Шестикрылов принялся объяснять Помоеву свое положение.

– Ты посиди здесь, – кончил он, – а я пойду и заочно решу. Ради бога не выходи! Со своими допотопными понятиями, ты такое ляпнешь там, что, чего доброго, придется протокол составлять.

Шестикрылов пошел в камеру и занялся разбирательством. Помоев, сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорщился, но наконец согласился, потребовав за обиду десять рублей.

– Ну, слава богу! – сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию. – Спасибо, что дело так кончилось... словно тысяча пудов с плеч свалилась. Заплатишь ты Гришке 10 рублей и можешь быть покоен.

– Я Гришке... десять... рублей?! – обомлел Помоев. – Да ты в уме?..

– Ну, да ладно, ладно, я за тебя заплачу, – махнул рукой Шестикрылов, поморщившись. – Я и сто рублей готов дать, только чтоб не заводить неудовольствий. И не дай бог знакомых судить. Лучше, брат, чем Гришек бить, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня! Это в тысячу раз легче. Пойдем к Наташе есть!

Через десять минут приятели сидели в апартаментах мирового и завтракали жареными карасями.

– Ну хорошо, – начал Помоев, выпивая третью, – ты Гришке 10 рублей присудил, а на сколько же ты его в арестантскую упек?

– Я его не упекал. За что же его?

– Как за что? – вытаращил глаза Помоев. – А за то, чтоб жалобы не подавал! Нешто он смеет на меня жалобы подавать?

Мировой и Ниткин принялись объяснять Помоеву, но он не понимал и стоял на своем.

– Что ни говори, а не годится Петька в судьи! – вздохнул он, беседуя с Ниткиным на обратном пути. – Человек он добрый, образованный, услужливый такой, но... не годится! Не умеет по-настоящему судить... Хоть жалко, а придется его на следующее трехлетье забастовать! Придется!..

Рыбье дело (Густой трактат по жидкому вопросу)

Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязана нитка и червяк... Мы даем (даром, заметьте!) целый трактат советов рыболовам. Чтобы придать нашему труду побольше серьезности и учености, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты.

* * *

1. Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах.

Примечание. Самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках.

2. Ловить нужно вдали от населенных мест, иначе рискуешь поймать за ногу купающуюся дачницу или же услышать фразу: «Какую вы имеете полную праву ловить здесь рыбу? Или, может, по шее захотелось?»

3. Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы... Можешь ловить и без приманки, так как всё равно ничего не поймаешь.

Примечание. Хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут удить и без приманки. Нехорошенькие же дачницы должны пускать в ход приманку: сто-двести тысяч или что-нибудь вроде...

4. Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит шума. Ужение не требует особенного искусства: если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет; если он шевелится, то торжествуй: твою приманку начинают пробовать; если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как всё равно ничего не вытащишь.

Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной (на дне ничего не осталось). В следующий раз мы подробно уясним животрепещущий вопрос о том, какие породы рыб можно изловить животрепещущими в мутной московской воде.

* * *

В прошлом номере «“Будильника” на даче» мы с непостижимым глубокомыслием и невероятной ученостью «третировали» вопрос о способах ловить рыбу. Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах.

* * *

В окрестностях Москвы ловятся следующие породы рыб:

а) *Щука*. Рыба некрасивая, невкусная, но рассудительная, положительная, убежденная в своих щучьих правах. Глодает всё, что только попадает ей на пути: рыб, раков, лягушек, уток, ребят... Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского трактира. Сыта никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, она говорит: «Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься!» Когда же подобное указание делают ей старшие чином, она заявляет: «И-и, батюшка, да кто ж таперича рыбешку не ест? Так уж спокон

века положено, чтоб мы, щуки, всегда сыты были». Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит: «А мне плевать!»

б) *Головль*. Рыбий интеллигент. Галантен, ловок, красив и имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бранит щук, но тем не менее поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькою необходимостью, потребностью времени... Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит:

– Ничего не поделаешь, батенька! Не созрели еще пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?

с) *Налим*. Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Славится своей громадной печенкой, из чего явствует, что он пьет горькую. Живет под корягами и питается всякой всячиной. По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, червяками и травой. «Где уж нам со щуками да головлями равняться? Что есть, то и едим. И на том спасибо». Пойманный на крючок, вытаскивается из воды, как бревно, не изъясняя никакого протеста... Ему на всё плевать...

д) *Окунь*. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты.

е) *Ерш*. Бойкий и шустрый индивидуум, воображающий, что он защищен от щук и головлей «льготами», данными ему природой, но тем не менее преисправно попадающий в уху.

ф) *Карась*. Сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука. Сызмальства приучается к мысли, что он хорош только в жареном виде. Поговорку «На то и щука в море, чтоб карась не дремал» понимает в смысле благоприятном для щуки...

– Денно и ночью должны мы быть готовы, чтоб угодить госпоже щуке... Без ихних благоденствий...

г) *Пескарь*. Преисправный посетитель ссудных касс, плохих летних увеселений и передних. Служит на Московско-Курской дороге, подносит благодарственные адреса щукам и день и ночь работает, чтобы головли ходили в енотах.

h) *Плотва*. Маленькая, полухапоточная рыбка, прозябающая в статистах или доставляющая плохие переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут на содержании у налимов и линей.

і) *Линь*. Ленивая, слюнявая и вялая рыба в черно-зеленом вицмундире, дослуживающая до пенсионера. Нюхает табак в одну ноздрю, обжогоривает карасей и лечится от завалов.

к) *Уклейка*. Ловится на муху. Нищенка.

l) *Лещ*. Держит трактиры на большой дороге и занимается подрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы «господа» не заметили...

Симулянты

Генеральша Марфа Петровна Печонкина, или, как ее зовут мужики, Печончиха, десять лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счета гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением: отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, всё больше мужики. Все они, кроме двух-трех, босы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе.

Марфа Петровна приняла уже десять человек и вызывает одиннадцатого:

– Гаврила Груздь!

Дверь отворяется, и, вместо Гаврилы Груздя, в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено.

– Что вы! Что вы, Кузьма Кузьмич! – ужасается генеральша, вся вспыхивая. – Бога ради!

– Покуда жив буду, не встану! – говорит Замухришин, прижимаясь к ручке. – Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого! Пусть! Которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне, целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых! Выздоровел! Воскрес, волшебница!

– Я... я очень рада... – бормочет генеральша, краснея от удовольствия. – Это так приятно слышать... Садитесь, пожалуйста! А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны!

– Да ведь как болен! Вспомнить страшно! – говорит Замухришин, садясь. – Во всех частях и органах ревматизм стоял. Восемь лет мучился, покою себе не знал... Ни днем ни ночью, благодетельница моя! Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды пил, и чего только я не перепробовал! Состояние свое пролежал, матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать – наука ихняя не дошла... Только деньги любят брать, разбойники, а ежели касательно пользы человечества, то им и горя мало. Прописет какой-нибудь хиромантии, а ты пей. Душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле! Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю: «Ну, какой в них толк? Нешто эти песчинки, еле видимые, могут излечить мою громадную застарелую болезнь?» Думаю, маловер, и улыбаюсь, а как принял крупинку – моментально! словно и болен не был или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит: «Да ты ли это, Кузя?» – «Я», говорю. И стали мы с ней перед образом на коленки и давай молиться за ангела нашего: «Пошли Ты ей, Господи, всего, что мы только чувствуем!»

Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и высказывает намерение снова стать на одно колено, но генеральша останавливает и усаживает его.

– Не меня благодарите! – говорит она, красная от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. – Не меня! Я тут только послушное орудие... Действительно, чудеса! Застарелый, восьмилетний ревматизм от одной крупинки скрофулозо!

– Изволили вы дать мне три крупинки. Из них одну принял я в обед – и моментально! Другую вечером, а третью на другой день, – и с той поры хоть бы тебе что! Хоть бы кольнуло где! А ведь помирать уже собрался, сыну в Москву написал, чтоб приехал! Умудрил вас Господь, целительница! Теперь вот хожу, и словно в раю... В тот вторник, когда у вас был, хромота, а теперь хоть за зайцем готов... Хоть еще сто лет жить. Одна только беда – недостатки наши. И

здоров, а для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пуще болезни... К примеру взять хоть бы такое дело... Теперь время овес сеять, а как его посеешь, ежели семенов нет? Нужно бы купить, а денег... известно, какие у нас деньги...

– Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич... Сидите, сидите! Вы так меня порадовали, такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить!

– Радость вы наша! Создаст же Господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела глядячи! А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что... Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные... мелкота... Одно звание только, что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже... Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому – крыша течет... Не на что тесу купить.

– Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич.

Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намерен везти в институт, и... тронутый щедротами генеральши, от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком... Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол.

– Во веки веков не забуду... – бормочет он. – И детям закажу помнить, и внукам... в род и род... Вот, дети, та, которая спасла меня от гроба, которая...

Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами, полными слез, глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговейным взором обводит аптечку, лечебники, счета, кресло, в котором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на брошенную пациентом бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней три крупинки, те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник Замухришину.

– Это те самые... – недоумевает она. – Даже бумажка та самая... Он и не разворачивал даже! Что же он принимал, в таком случае? Странно... Не станет же он меня обманывать!

И в душу генеральши, в первый раз за все десять лет практики, западает сомнение... Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные, все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинской мудростью, бранят докторов-аллопатов, потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой дровец, третий позволения охотиться в ее лесах и т. д. Она глядит на широкую, благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину, и новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая...

Лукав человек!

Налим

Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег... Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде...

– Да что ты всё рукой тычешь? – кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке. – Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

– Не уйдет... Куда ему уйтись? Он под корягу забился... – говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. – Скользкий, шут, и ухватить не за что.

– Ты за зебры хватай, за зебры!

– Не видать жабров-то... Постой, ухватил за что-то... За губу ухватил... Кусается, шут!

– Не тащи за губу, не тащи – выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

– «Хватай»... – дразнит Герасим. – Командер какой нашелся... Шел бы да и хватал бы сам, горбатый чёрт... Чего стоишь?

– Ухватил бы я, коли б можно было... Нешто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять? Там глыбоко!

– Ничего, что глыбоко... Ты вплавь...

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги, он погружается с головой и пускает пузыри.

– Говорил же, что глыбоко! – говорит он, сердито вращая белками. – На шею тебе сяду, что ли?

– А ты на корягу стань... Коряг много, словно лестница...

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее... Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его насккивает на колющие клешни рака...

– Тебя еще тут, чёрта, не видали! – говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

– Во-от он!.. – улыбается Любим. – Зда-аровый, шут... Оттопырь-ка пальцы, я его сейчас... за зебры... Постой, не толкай локтем... я его сейчас... сейчас, дай только взяться... Далече, шут, под корягу забился, не за что и ухватиться... Не доберешься до головы... Пузо одно только и слышать... Убей мне на шее комара – жжет! Я сейчас... под зебры его... Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпынай его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, – бултых в воду! Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки.

– Утонешь еще, чёрт, отвечать за тебя придется!.. – хрипит Герасим. – Вылазь, ну ты к лешему! Я сам выташу!

Начинается ругань... А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки... Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим всё еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

– Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком – рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправо колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича... По отлогому берегу к водою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

– Потолкай его из-под низу! – слышит он голос Любима. – Просунь палец! Да ты глухой, чё-ёрт, что ли? Тьфу!

– Кого это вы, братцы? – кричит Ефим.

– Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду... Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

– Постой, ребяташки! – кричит он. – Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо уметь!

Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкуются на одном месте... Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

– Где пастух? – слышится с берега крик. – Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где ж он, старый разбойник?

Слышатся мужские голоса, затем женский... Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке... Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне...

– Что здесь? Кто орет? – спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрые головы рыболовов. – Что вы здесь копошитесь?

– Ры... рыбку ловим... – лепечет Ефим, не поднимая головы.

– А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

– Бу... будет готова... – кряхтит Герасим. – Лето велико, успеешь еще, вашескорodie, помыться... Пфррр... Никак вот тут с налимом не управимся... Забрался под корягу и словно в норе: ни туда ни сюда...

– Налим? – спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. – Так тащите его скорей!

– Ужо дашь полтинничек... Удружим ежели... Здоровенный налим, что твоя купчиха... Стоит, вашескорodie, полтинник... за труды... Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек... как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте ногами!

Проходит пять минут, десять... Барину становится невтерпеж.

– Василий! – кричит он, повернувшись к усадьбе. – Васька! Позовите ко мне Василия!

Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

– Полезай в воду, – приказывает ему барин, – помоги им вытащить налима... Налима не вытащат!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

– Я сейчас... – бормочет он. – Где налим? Я сейчас... Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться! Который тут налим? Я его сейчас... Вот он! Пустите руки!

– Да чего пустите руки? Сами знаем: пустите руки! А ты вытащи!

– Да нешто его так вытащишь? Надо за голову!

– А голова под корягой! Знамо дело, дурак!

– Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

– При господине барине и такие слова... – лепечет Ефим. – Не вытащите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!

– Погодите, я сейчас... – говорит барин и начинает торопливо раздеваться. – Четыре вас дурака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему.

– Подрубить корягу надо! – решает наконец Любим. – Герасим, сходи за топором! Топор подайте!

– Пальцев-то себе не отрубите! – говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. – Ефим, пошел вон отсюда! Пойдите, я налима вытащу... Вы не тово...

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму под жабры.

– Тащу, братцы! Не толпитесь... стойте... тащу!

На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться.

– Шалишь... Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании.

– Знатный налим! – лепечет Ефим, почесывая под ключицами. – Чай, фунтов десять будет...

– Н-да... – соглашается барин. – Печенка-то так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А... ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск... Все растопыривают руки, но уже поздно; налим – поминай как звали.

Из воспоминаний идеалиста

Десятого мая взял я отпуск на 28 дней, выпросил у нашего казначея сто рублей вперед и порешил во что бы то ни стало «пожить», пожить во всю ивановскую, так, чтобы потом в течение десяти лет жить одними только воспоминаниями.

А вы знаете, что значит «пожить» в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться домой навеселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки и повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонку цветут ландыши и ночные красавицы. Там, на просторе, под голубым сводом, в виду зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что такое жизнь! Прибавьте к этому две-три встречи с широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым фартучком... Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу.

Дачу я нанял, по совету одного приятеля, у Софьи Павловны Книгиной, отдававшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в Перерву и отыскав дачу Книгиной, я взошел, помню, на террасу и... сконфузился. Терраска была уютна, мила и восхитительна, но еще милее и (позвольте так выразиться) уютнее была молодая полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки.

– Что вам угодно?

– Извините, пожалуйста... – начал я. – Я... я, вероятно, не туда попал... Мне нужна дача Книгиной...

– Я Книгина и есть... Что вам угодно?

Я потерялся... Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуместь особ пожилых, ревматических, пахнущих кофейной гущей, но тут... – «спасите нас, о неба херувимы!» – как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заикаясь, объяснил, что мне нужно.

– Ах, очень приятно! Садитесь, пожалуйста! Мне ваш друг писал уже. Не хотите ли чаю? Вам со сливками или с лимоном?

Есть порода женщин (чаще всего блондинок), с которыми достаточно посидеть две-три минуты, чтобы вы почувствовали себя как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем, живет на проценты с капитала и ждет к себе в гости тетю; я знал причины, какие побудили Софью Павловну отдать одну комнату внаймы. Во-первых, платить сто двадцать рублей за дачу для одной тяжело и, во-вторых, как-то жутко: вдруг вор заберется ночью или днем войдет страшный мужик! И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина.

– Но мужчина лучше! – вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки. – С мужчиной меньше хлопот и не так страшно...

Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями.

– Ах, да! – вспомнил я, прощаясь с ней. – Обо всем поговорили, а о главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я у вас буду только 28 дней... Обед, конечно... чай и прочее...

– Ну, нашли о чем говорить! Сколько можете, столько и дайте... Я ведь не из расчета отдаю комнату, а так... чтоб людней было... 25 рублей можете дать?

Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась... Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь, и – сколько прелести в этом однообразии, какие дни, какие ночи! Читатель, я в восторге, позвольте мне вас обнять! Утром я просыпался и, нимало не думая о службе, пил чай со сливками. В одиннадцать шел к хозяйке поздравить ее с добрым утром и пил у нее кофе с жирными, топлеными сливками. От кофе до обеда болтали. В два часа обед, но что за обед! Представьте себе, что вы, голодный, как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете горячей солониной с хреном. Затем представьте себе крошку или зеленые щи со сметаной и т. д. и т. д. После обеда безмятежное лежанье, чтение романа и ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери – и «лежите! лежите!»... Потом купанье. Вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной... Представьте себе, что в вечерний час, когда всё спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико... Ужасно хорошо!

Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждете от меня, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ... Я не устоял... Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их, только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать:

– И о чем тут долго говорить, не понимаю!

* * *

28 дней промелькнули, как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий, неудовлетворенный, попрощался с дачей и Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я, сам едва не плача, утешал ее, обещая навещать ее на дачу по праздникам и бывать у нее зимой в Москве.

– Ах... когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся? – вспомнил я. – Сколько с меня следует?

– Когда-нибудь после... – проговорил мой «предмет», всхлипывая.

– Зачем после? Дружба дружбой, а денежки врозь, говорит пословица, и к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет. Не ломайся же, Соня... Сколько тебе?

– Там... пустяки какие-то... – проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая из стола ящичек. – Мог бы и после заплатить...

Соня порылась в ящичке, достала оттуда бумажку и подала ее мне.

– Это счет? – спросил я. – Ну, вот и отлично... и отлично... (я надел очки) расквитаемся и ладно... (я пробежал счет). Итого... Постой, что же это? Итого... Да это не то, Соня! Здесь «итого 212 р. 44 к.». Это не мой счет!

– Твой, Дудочка! Ты погляди!

– Но... откуда же столько? За дачу и стол 25 р. – согласен... За прислугу 3 р. – ну, пусть, и на это согласен...

– Я не понимаю, Дудочка, – сказала протяжно хозяйка, взглянув на меня удивленно, заплаканными глазами. – Неужели ты мне не веришь? Сочти в таком случае! Листовку ты пил... не могла же я подавать тебе к обеду водки за ту же цену! Сливки к чаю и кофе... потом клубника, огурцы, вишни... Насчет кофе тоже... Ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день! Впрочем, всё это такие пустяки, что я, изволь, могу сбросить тебе 12 руб. Пусть останется только 200.

– Но... тут поставлено 75 руб. и не обозначено за что... За что это?

– Как за что? Вот это мило!

Я посмотрел ей в личико. Оно глядело так искренне, ясно и удивленно, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне сто рублей и вексель на столько же, взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал.

Нет ли, господа, у кого-нибудь займы ста рублей?

В аптеке

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, – думал он, забираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. – Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами – по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плешки на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

– Calomedi grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!¹²

– Ja!¹³ – послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.

– Ja! – послышалось из другого угла.

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

– Через час будет готово, – процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

– Нельзя ли поскорее? – пробормотал Свойкин. – Мне решительно невозможно ждать.

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозила около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове... Разбитость и головной туман овладевали его телом всё больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором...

– Должно быть, у меня горячка начинается, – сказал он. – Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб... Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкину он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал... Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой... Стук мраморной ступки становился всё громче и звонче.

¹² Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! (лат.).

¹³ Да! (нем.).

Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи... Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоария и проч. За радиками замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы, с названиями одно другого мудренее и допотопнее.

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! – подумал Свойкин. – Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как всё это солидно и внушительно!»

С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос...

В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.

– Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? – обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-ученую физиономию провизора.

«Странные люди, ей-богу! – подумал он. – Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки... Средневековое из себя что-то корчат... В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной уютной фигуры...»

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки... Болезненное утомление овладело всем его существом... Он подошел к прилавку и, сооротив умоляющую гримасу, попросил:

– Будьте так любезны, отпустите меня! Я... я болен...

– Сейчас... Пожалуйста, не облакачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса еще только прошло, – подумал он. – Еще осталось столько же... Невыносимо!»

Но вот наконец к провизору подошел маленький, черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью... Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами... Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой...

«Ну, к чему эти церемонии? – подумал Свойкин. – Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

– Получите! – проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. – Внесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки...

– Рубль шесть копеек? – забормотал он, конфузясь. – А у меня только всего один рубль... Думал, что рубля хватит... Как же быть-то?

– Не знаю! – отчеканил провизор, принимаясь за газету.

– В таком случае уж вы извините... Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю...

– Этого нельзя... У нас кредита нет...

– Как же мне быть-то?

– Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.

- Пожалуй, но... мне тяжело ходить, а прислать некого...
- Не знаю... Не мое дело...
- Гм... – задумался учитель. – Хорошо, я схожу домой...

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой... Пока он добрался до своего номера, то сиделся отдыхать раз пять... Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть... Какая-то сила потянула его голову к подушке... Он прилег, как бы на минутку... Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали завлакивать сознание... Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.

Не судьба!

Часу в десятом утра два помещика, Гадюкин и Шиловостов, ехали на выборы участкового мирового судьи. Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали приятели, зеленела на всем своем протяжении. Старые березы, насаженные по краям ее, тихо шептались молодой листвой. Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов и куличков. На горизонте там и сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами.

– Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать... – проворчал Гадюкин, толстый седовласый барин в грязной соломенной шляпе и с развязавшимся пестрым галстуком, когда бричка, подпрыгивая и звякая всеми своими суставами, объезжала мостик. – Наши земские мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал на прошлом земском собрании граф Дублеве, что земские мосты построены для испытания умственных способностей: ежели человек объехал мост, то, стало быть, он умный, ежели же въехал на мостик и, как водится, шею сломал, то дурак. А всё председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием, энергический, зубастый, как ты, например... Нелегкая тебя несет в мировые судьи! Баллотировался бы, право, в председатели!

– А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных, – скромно заметил Шиловостов, высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке, – то поневоле придется баллотироваться в председатели.

– Не прокатят... – зевнул Гадюкин. – Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-навсего один – ты! Кого же и выбирать, как не тебя? Так уж и решили... Только напрасно ты в мировые лезешь... В председателях ты нужнее был бы...

– Всё равно, друг... И мировой получает 2 400 и председатель 2 400. Мировой знай сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в бричке в управу... Мировому не в пример легче, и к тому же...

Шиловостов не договорил... Он вдруг беспокойно задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем он побагровел, плюнул и откинулся на задок.

– Так и знал! Чуюло мое сердце! – пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот. – Опять не выберут!

– Что такое? Почему?

– Да нешто не видишь, что отец Онисим навстречу едет? Уж это как пить дать... Встретится тебе на дороге этакая фигура, можешь назад воротиться, потому – ни черта не выйдет. Это уж я знаю! Митька, поворачивай назад! Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не встречаться, так нет, пронюхал, что еду! Чутье у него такое!

– Да полно, будет тебе! Выдумываешь, ей-богу!

– Не выдумываю! Ежели священник на дороге встретится, то быть беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не приведи создатель! Недаром уж двадцать лет за штатом сидит! И за что мстит-то? За образ мыслей! Мысли мои ему не нравятся! Были мы, знаешь, однажды у Ульева. После обеда, выпивши, конечно, сел я за фортепианы и давай без всякой, знаешь, задней мысли петь «Настоечка травная» да «Грянем в хороводе при всем честном народе», а он услышал и говорит: «Не подобает судии быть с таким образом мыслей касательно иерархии. Не допущу до избрания!» И с той поры каждый раз навстречу ездит... Уж я и ругался с ним и дороги менял – ничего не помогает! Чутьем слышит, когда я выезжаю... Что ж? Теперь надо ворочаться! Всё равно не выберут! Это уж как пить дать... В прошлые разы не выбирали, – а почему? По его милости!

– Ну, полно, образованный человек, в университете кончил, а в бабы предрассудки веришь...

– Не верю я в предрассудки, но у меня примета: как только начну что-нибудь 13-го числа или встречу с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Всё это, конечно, чепуха, вздор, нельзя этому верить, но... объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь же вот! По-моему, верить не нужно, но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам... Вернемся! Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось сломается или проиграемся... Вот увидишь!

С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусиновой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился.

– Так нехорошо делать, батюшка! – замахал ему рукой Шиловостов. – Такие ехидные поступки неприличны вашему сану! Да-с! За это вы ответ должны дать на страшном судилище!.. Воротимся! – обратился он к Гадюкину. – Даром только едем...

Но Гадюкин не согласился вернуться...

Вечером того же дня приятели ехали обратно домой... Оба были багровы и сумрачны, как вечерняя заря перед плохой погодой.

– Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться! – ворчал Шиловостов. – Говорил ведь. Отчего не послушался? Вот тебе и предрассудки! Будешь теперь не верить! Мало того, что на вороних, подлецы, прокатили, но еще и на смех подняли, анафемы! «Кабак, говорят, на своей земле держишь!» Ну, и держу! Кому какое дело? Держу, да!

– Ничего, через месяц в председатели будешь баллотироваться... – успокоил Гадюкин. – Тебя нарочно сегодня прокатили, чтоб в председатели тебя выбрать...

– Пой соловьем! Всегда ты меня, ехиды, утешаешь, а сам первый норовишь черняков набросать! Сегодня ни одного белого не было, все черняки, стало быть, и ты, друг, черняка положил... Мерси...

Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы, но уже ехали не в десятом часу утра, а в седьмом. Шиловостов ерзал в бричке и беспокойно поглядывал на дорогу...

– Он не ожидает, что мы так рано выедем, – говорил он, – но все-таки надо спешить... Чёрт его знает, может быть, у него шпионы есть! Гони, Митька! Шибче!.. Вчера, брат, – обратился он к Гадюкину, – я послал отцу Онисиму два мешка овса и фунт чаю... Думал его лаской умиловить, а он взял подарки и говорит Федору: «Кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен, но, говорит, скажи ему, что я неподкупен. Не токмо овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей». Каков? Погоди же... Поедешь и чёрта пухлого встретишь... Гони, Митька!

Бричка въехала в деревню, где жил отец Онисим... Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота... Отец Онисим сутился около телеги и торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой и зубами надевал на лошадь шлею...

– Опоздал! – захохотал Шиловостов. – Донесли шпионы, да поздно! Ха, ха! На-кося выкуси! Что, съел? Вот тебе и неподкупен! Ха, ха!

Бричка выехала из деревни, и Шиловостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал.

– Ну, у меня, брат, таких мостов не будет! – начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом. – Я их подтяну, этих подрядчиков! У меня, брат, не такие школы будут! Чуть замечу, что который из учителей пьяница или социалист – айда, брат! Чтoб и духу твоего не было! У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить! Я, брат... ты, брат... Гони, Митька, чтоб другой какой поп не встретился!.. Ну, кажись, благополучно доеха... Ай!

Шилохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный.

– Заяц! Заяц! – закричал он. – Заяц дорогу перебежал! А-а... чёрт подери, чтоб его разорвало!

Шилохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному, вспотевшему лбу, прошептал:

– Не судьба, знать, мне 2400 получать... Ворочай назад, Митька! Не судьба!

Необходимое предисловие

Молодая, только что повенчанная пара едет из церкви восвояси.

– Ну-ка, Варя, – говорит муж, – возьми-ка меня за бороду и рвани изо всех сил.

– Бог знает что ты выдумываешь!

– Нет, нет, пожалуйста! Прошу тебя! Возьми и рвани без всяких церемоний...

– Полно, для чего тебе это?

– Варя, я прошу... требую наконец! Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь... Вот моя борода, рви!

– Ни за что! Причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни... нет, никогда!

– Но я прошу! – начинает сердиться новоиспеченный супруг. – Понимаешь? Я прошу и... требую!

Наконец, после долгих ломаний, недоумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужнину бороду и рвет ее, насколько хватает сил... Муж даже не морщится...

– Представь, а мне ведь нисколько не больно! – говорит он. – Ей-богу, не больно! А ну-ка, стой, теперь я тебя...

Муж берет жену за несколько волосков, что около виска, и сильно дергает. Жена громко взвизгивает.

– Теперь, мой друг, – резюмирует муж, – ты видишь, что я во много раз сильнее и выносливее тебя. Это тебе необходимо знать на случай, если когда-нибудь в будущем полезешь на меня с кулаками или пообещаешь выцарапать мне глаза... Одним словом, жена да убоится мужа своего!

Нечто серьезное

Ввиду пересмотра «Уложения о наказаниях» не мешало бы кстати внести в него статьи:

О составляющих сообщества любителей сценического искусства и равно о тех, кои, зная о существовании таковых сообществ, не доносят о том, куда следует.

О тех, кои, не имея таланта и дарования, ради корысти, суетной славы или другой личной выгоды, позволяют себе на публичных концертах и семейных вечерах петь романсы или куплеты. (Для таковых самой лучшей исправительной мерой может служить намордник.)

О гимназистах, употребляющих в любовных письмах цитаты из известных авторов (Прудон, Бокль и проч.) без указания источников.

О болеющих писательским зудом и изолировании таковых от общества.

О постройке за городом на счет земства толстостенных зданий специально для девиц, уличаемых в злоупотреблении гаммами.

Об изгнании из отечества лиц, кои, выдавая себя за женихов, обедают ежедневно на счет отцов, имеющих дочерей.

О предании рецензентов суду за лихоимство.

О статских советниках, присваивающих себе титул превосходительства.

О педагогах, занимающихся лесохозяйством.

О супругах вице-губернаторов, предводителей и старших советников, кои, пользуясь галантностью и услужливостью секретарей, экзекуторов и чинов полиции, неустанно распространяют подписные листы «в пользу одного бедного семейства», «на обед в честь Ивана Ивановича» и проч., чем и порождают в обывателях малодушный страх перед филантропией.

О девицах, из каких-либо видов скрывающих свой возраст.

О браке муз с безумными и сумасшедшими поэтами.

В вагоне (Разговорная перестрелка)

- Сосед, сигарочку не угодно ли?
- Merci... Великолепная сигара! Почем такие за десяток?
- Право, не знаю, но думаю, что из дорогих... гаванна ведь! После бутылочки Эль-де-Пердри, которую я только что выпил на вокзале, и после анчоусов недурно выкурить такую сигару. Пфф!
- Какая у вас массивная брелока!
- М-да... Триста рубликов-с! Теперь, знаете ли, недурно бы после этой сигары рейнского выпить... Шлос-Иоганисберга, что ли, № 85 ½, десятирублевый... А? Или красного... Из красных я пью Кло-де-Вужо-вье-сеп или, пожалуй, Кло-де-Руа-Кортон... Впрочем, если уж пить бургонское, то не иначе как Шамбертен № 38 ¾. Из бургонских оно самое здоровое...
- Извините, пожалуйста, за нескромный вопрос: вы, вероятно, принадлежите к здешним крупным землевладельцам, или вы... банкир?
- Не-ет, какой банкир! Я пакгаузный надзиратель W-й таможни...

* * *

- Жена моя читает «Новости» и «Новое время», сам же я предпочитаю московские газеты. По утрам читаю газеты, а вечером приказываю которой-нибудь из дочерей читать вслух «Русскую старину» или «Вестник Европы». Признаться, я не охотник до толстых журналов, отдаю их знакомым читать, сам же угощаюсь больше иллюстрациями... Читаю «Ниву», «Всемирную»... ну, конечно, и юмористические...
- Неужели вы выписываете все эти газеты и журналы? Вероятно, вы содержите библиотеку?
- Нет-с, я приемщик в почтовом отделении...

* * *

- Конечно, лошадиному способу путей сообщения никогда не сравняться с железной дорогой, но и лошади, батенька, хорошая штука... Запряжешь, этак, пять-шесть троек, насажаешь туда бабенок и – ах вы, кони, мои кони, мчитесь сокола быстрее! Едешь, и только искры сыплются! Верст тридцать промчишься и назад... Лучшего удовольствия и выдумать нельзя, особенно зимой... Был, знаете ли, такой случай... Приказываю я однажды людям запрячь десять троек... гости у меня были...
- Виноват... вероятно, у вас свой конский завод?
- Нет-с, я брандмейстер...

* * *

- Я не корыстолюбив, не люблю денег... тьфу на них!.. Много я из-за них, поганных, выстрадал, но все-таки говорил и буду говорить: деньги хорошая штука! Ну, что может быть приятнее, когда стоишь, этак, с глазу на глаз с обывателем и вдруг чувствуешь на ладони некоторое бумажное, так сказать, соприкосновение... Так и бегают по жилам искры, когда в кулаке бумаженцию чувствуешь...

- Вы, вероятно, доктор?
- Храни бог! Я становой...

* * *

- Кондуктор! Где я нахожусь?! В каком я обществе?! В каком я веке живу?!
- Да вы сами кто такой?
- Сапожных дел мастер Егоров...

* * *

– Что ни говорите, а тяжел наш писательский труд! (величественный вздох). Недаром collega Некрасов сказал, что в нашей судьбе что-то лежит роковое... Правда, мы получаем большие деньги, нас всюду знают... наш удел слава, но... всё это суета... Слава, по выражению одного из моих коллег, есть яркая заплатка на грязном рубище слепца... Так тяжело и трудно, что, верите ли, иной раз взял бы и променял славу, деньги и всё на долю пахаря...

- А вы где изволите писать?
- Пишу в «Луче» статьи по еврейскому вопросу...

* * *

– Мой муж уходил каждую субботу к министру, и я оставалась одна... Вдруг в одну из суббот приезжают от графа Фикина и спрашивают мужа. «Нужен во что бы то ни стало! Хоть из земли выкапывайте, а давайте нам вашего мужа!» Такие, ей-богу... Где же, говорю, я возьму вам мужа? Сейчас он у министра, оттуда же, чего доброго, заедет к княгине Хронской-Запятой...

- Ааа... Сударыня, ваш супруг по какому министерству изволит служить?
- Он по парикмахерской части... В парикмахерах...

Мыслитель

Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений... Вся природа похожа на одну очень большую, забытую богом и людьми, усадьбу. Под опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремного смотрителя Яшкина, за маленьким треногим столом сидят сам Яшкин и его гость, штатный смотритель уездного училища Пимфов. Оба без курток; жилетки их расстегнуты; лица потные, красные, неподвижны; способность их выражать что-нибудь парализована зноем... Лицо Пимфова совсем скисло и заплывало ленью, глаза его посоловели, нижняя губа отвисла. В глазах же и на лбу у Яшкина еще заметна кое-какая деятельность; по-видимому, он о чем-то думает... Оба глядят друг на друга, молчат и выражают свои мучения пыхтением и хлопаньем ладонями по мухам. На столе графин с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин с серой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья...

– Да-с! – издает вдруг Яшкин, и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в сторону. – Да-с! Что ни говорите, Филипп Максимыч, а в русском языке очень много лишних знаков препинания!

– То есть почему же-с? – скромно вопрошает Пимфов, вынимая из рюмки крылышко мухи. – Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место.

– Уж это вы оставьте! Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование... Наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он умный. Например, товарищ прокурора Меринов после каждого слова запятую ставит. Для чего это? Милостивый государь – запятая, посетив тюрьму такого-то числа – запятая, я заметил – запятая, что арестанты – запятая... тьфу! В глазах рябит! Да и в книгах то же самое... Точка с запятой, двоеточие, кавычки разные. Противно читать даже. А иной франт, мало ему одной точки, возьмет и натыкает их целый ряд... Для чего это?

– Наука того требует... – вздыхает Пимфов.

– Наука... Умопомрачение, а не наука... Для форсу выдумали... пыль в глаза пушать... Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять, а в России есть... Для чего он, спрашивается? Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, нешто не всё равно?

– Бог знает что вы говорите, Илья Мартыныч! – обижается Пимфов. – Как же это можно хлеб через *e* писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно.

Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону.

– Да и секли же меня за этот ять! – продолжает Яшкин. – Помню это, вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует: «Лекарь уехал в город». Я взял и написал *лекарь* с *e*. Выпорол. Через неделю опять к доске, опять пиши: «Лекарь уехал в город». Пишу на этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте, сами же вы говорили, что тут ять нужно! «Тогда, говорит, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика о ять в слове *лекарь*, соглашаюсь с Академией наук. Порю же я тебя по долгу присяги»... Ну, и порол. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши от этого ять... Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить.

– Прощайте, – вздыхает Пимфов, моргая глазами и надевая куртку. – Не могу я слышать, ежели про науки...

– Ну, ну, ну... уж и обиделся! – говорит Яшкин, хватая Пимфова за рукав. – Я ведь это так, для разговора только... Ну, сядем, выпьем!

Оскорбленный Пимфов садится, выпивает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Феона проносит лохань с помоями. Слышится помойный плеск и визг облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова раскисает еще больше; вот-вот растает от жары и потечет вниз на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Он сосредото-

ченно глядит на мочалистую говядину и думает... Подходит к столу инвалид, угрюмо косится на графин и, увидев, что он пуст, приносит новую порцию... Еще выпивают.

– Да-с! – говорит вдруг Яшкин.

Пимфов вздрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он ждет от него новых ересей.

– Да-с! – повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. – По моему мнению, и наук много лишних!

– То есть, как же это-с? – тихо спрашивает Пимфов. – Какие науки вы находите лишними?

– Всякие... Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе. Гордости больше... Я бы перевешал все эти... науки... Ну, ну... уж и обиделся! Экий какой, ей-богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Сядем, выпьем!

Подходит Феона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Феона ставит с такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают.

– Всё на этом свете лишнее! – замечает вдруг Яшкин.

Пимфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в густой каше... Вместо обычного «то есть как же это-с?» получается одно только мычание.

– Всё лишнее... – продолжает Яшкин. – И науки, и люди... и тюремные заведения, и мухи... и каша... И вы лишний... Хоть вы и хороший человек, и в Бога веруете, но и вы лишний...

– Прощайте, Илья Мартыныч! – лепечет Пимфов, силясь надеть сюртук и никак не попадая в рукава.

– Сейчас вот мы натрескались, налопались, – а для чего это? Так... Всё это лишнее... Едим и сами не знаем, для чего... Ну, ну... уж и обиделся! Я ведь это так только... для разговора! И куда вам идти? Посидим, потолкуем... выпьем!

Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканьем рюмок да пьяным побрякиваньем... Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы всё растет и растет. Приходит Феона и, фыркая, резко махая руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать...

«Слава богу, – думает Пимфов, – сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, а то бы волосы дыбом, хоть святых выноси...»

Заблудшие

Дачная местность, окутанная ночным мраком. На деревенской колокольне бьет час. Присяжные поверенные Козьявкин и Лаев, оба в отменном настроении и слегка пошатываясь, выходят из лесу и направляются к дачам.

– Ну, слава создателю, пришли... – говорит Козьявкин, переводя дух. – В нашем положении пройти пехтурой пять верст от полустанка – подвиг. Страшно умаялся! И, как назло, ни одного извозчика...

– Голубчик, Петя... не могу! Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется...

– В по-сте-ли? Ну, это шалишь, брат! Мы сначала поужинаем, выпьем красенького, а потом уж и в постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать... А хорошо, братец ты мой, быть женатым! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчас к себе домой утомленный, замученный... меня встретит любящая жена, попоит чайком, даст поесть и, в благодарность за мой труд, за любовь, взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково и приветливо, что забуду я, братец ты мой, и усталость, и кражу со взломом, и судебную палату, и кассационный департамент... Хоррошо!

– Но... у меня, кажется, ноги отломались... Я едва иду... Пить страшно хочется...

– Ну, вот мы и дома.

Приятеля подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном.

– Дачка славная, – говорит Козьявкин. – Вот завтра увидишь, какие здесь виды! Темно в окнах. Стало быть, Верочка уже легла, не захотела дожидаться. Лежит и, должно быть, мучится, что меня до сих пор нет... (пихает тростью окно, которое отворяется). Этакая ведь бесстрашная, ложится в постель и не запирает окон (снимает крылатку и бросает ее вместе с портфелем в окно). Жарко! Давай-ка затынем серенаду, посмешим ее... (поет): «Месяц плывет по ночным небесам... Ветерочек чуть-чуть дышит... ветерочек чуть колышет»... Пой, Алеша! Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта? (поет): «Пе-еснь моя-я-я... лети-ит с мольбо-о-о-ю»... (голос обрывается судорожным кашлем). Тьфу! Верочка, скажи-ка Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! (пауза). Верочка! Не ленись же, встань, милая! (становится на камень и глядит в окно). Верунчик, мумочка моя, веревьюнчик... ангелочек, жена моя бесподобная, встань и скажи Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! Ведь не спишь же! Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе не до шуток. Ведь мы пешком от станции шли! Да ты слышишь или нет? А, чёрт возьми! (делает попытку влезть в окно и срывается). Может быть, гостю неприятны эти шутки! Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была, всё бы тебе шалить...

– А может быть, Вера Степановна спит! – говорит Лаев.

– Не спит! Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей! Я уже начинаю сердиться, Вера! А, чёрт возьми! Подсади меня, Алеша, я влезу! Девчонка ты, школьница и больше ничего!.. Подсади!

Лаев с пыхтеньем подсаживает Козьявкина. Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты.

– Верка! – слышит через минуту Лаев. – Где ты? Чёрррт... Тьфу, во что-то руку выпачкал! Тьфу!

Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы.

– Вот те на! – слышит Лаев. – Вера, откуда у нас куры? Чёрт возьми, да тут их пропасть! Плетушка с индейкой... Клюется, п-подлая!

Из окна с шумом вылетают две курицы и, крича во всё горло, мчатся по улице.

– Алеша, да мы не туда попали! – говорит Козявкин плачущим голосом. – Тут куры какие-то... Я, должно быть, обознался... Да ну вас к чёрту, разлетались тут, анафемы!

– Так ты выходи поскорей! Понимаешь? Умираю от жажды!

– Сейчас... Найду вот крылатку и портфель...

– Ты спичку зажги!

– Спички в крылатке... Угораздило же меня сюда забраться! Все дачи одинаковые, сам чёрт не различит их в потемках. Ой, индейка в щеку клюнула! П-подлая...

– Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур ворует!

– Сейчас... Крылатки никак не найду. Тряпья здесь валяется много, и не разберешь, где тут крылатка. Брось-ка мне спички!

– У меня нет спичек!

– Положение, нечего сказать! Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их.

– Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной дачи, – возмущается Лаев. – Пьяная рожа... Если б я знал, что будет такая история, ни за что бы не поехал с тобой. Теперь бы я был дома, спал безмятежно, а тут изволь вот мучиться... Страшно утомлен, пить хочется... голова кружится!

– Сейчас, сейчас... не умрешь...

Через голову Лаева с криком пролетает большой петух. Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз... Проходит минут пять, десять, наконец двадцать, а Козявкин всё еще возится с курами.

– Петр, скоро ли ты?

– Сейчас. Нашел было портфель, да опять потерял.

Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза. Куриный крик становится всё громче. Обитательницы пустой дачи вылетают из окна и, кажется ему, как совы кружатся во тьме над его головой. От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас.

«С-скотина!.. – думает он. – Пригласил в гости, обещал угостить вином да простоквашей, а вместо того заставил пройтись от станции пешком и этих кур слушать...»

Возмущаясь, Лаев сует подбородок в воротник, кладет голову на свой портфель и малопомалу успокаивается. Утомление берет свое, и он начинает засыпать.

– Нашел портфель! – слышит он торжествующий крик Козявкина. – Найду сейчас крылатку и – баста, идем!

Но вот сквозь сон слышит он собачий лай. Лает сначала одна собака, потом другая, третья... и собачий лай, мешаясь с куриным кудахтаньем, дает какую-то дикую музыку. Кто-то подходит к Лаеву и спрашивает о чем-то. Засим слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат... Женщина в красном фартуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает.

– Вы не имеете права говорить это! – слышит он голос Козявкина. – Я присяжный поверенный, кандидат прав Козявкин. Вот вам моя визитная карточка!

– На что мне ваша карточка! – говорит кто-то хриплым басом. – Вы у меня всех кур поразгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы наделали! Не сегодня завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мне ваша карточка?

– Вы не смеете меня удерживать! Да-с! Я не позволю!

«Пить хочется...» – думает Лаев, стараясь открыть глаза и чувствуя, как через его голову кто-то лезет из окна.

– Я – Козявкин! Тут моя дача, меня тут все знают!

– Никакого Козявкина мы не знаем!

– Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту! Он меня знает!

– Не горячитесь, сейчас урядник приедет... Всех дачников тутошних мы знаем, а вас отродясь не видели.

– Я уж пятый год в Гнилых Выселках на даче живу!

– Эва! Нешто это Выселки? Здесь Хиловое, а Гнилые Выселки правее будут, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.

– Чёрт меня возьми! Это, значит, я не той дорогой пошел!

Человеческие и птичьи крики мешаются с собачьим лаем, и из смеси звукового хаоса выделяется голос Козявкина:

– Вы не смеете! Я заплачу! Вы узнаете, с кем имеете дело!

Наконец голоса мало-помалу стихают. Лаев чувствует, что его треплют за плечо.

Егорь

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

По краю сечи лениво, вразвалку, плетется высокий узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубаше, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи... Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым, жокейским козырьком, очевидно, подарок какого-нибудь расщедлившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двустволку со взведенными курками и шурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука... Всё живое попряталось от зноя.

– Егор Власыч! – слышит вдруг охотник тихий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

– А, это ты, Пелагея! – говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. – Гм!.. Как же это ты сюда попала?

– Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими... В работницах, Егор Власыч.

– Тэк... – мычит Егор Власыч и медленно идет дальше.

Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

– Давно уж я вас не видала, Егор Власыч... – говорит Пелагея, нежно глядя надвигающиеся плечи и лопатки охотника. – Как заходили вы на Святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали... На Святой на минутку зашли, да и то бог знает как... в пьяном виде... Побранили, побили и ушли... Уж я ждала, ждала... глаза все проглядела, вас поджидаячи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

– Что ж мне у тебя делать-то?

– Оно, конечно, делать нечего, да так... все-таки ж хозяйство... Поглядеть, как и что... Вы хозяин... Ишь ты, тетерьку подстрелили. Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули...

Говоря всё это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора... От лица ее так и дышит счастьем...

– Посидеть? Пожалуй... – говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими елками. – Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

– Хоть бы разочек зашли, – говорит тихо Пелагея.

– Зачем? – вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб. – Нет никакой надобности. Зайти на час-другой – канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне – душа не терпит... Сама знаешь, человек я балованный... Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные... чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копать... Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспрременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

– Таперя вы где живете?

– У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так... из-за удовольствия меня держит.

– Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы и ремесло... занятие настоящее...

– Не понимаешь ты, глупая, – говорит Егор, мечтательно глядя на небо. – Ты отродясь не понимала и век тебе не понять, что я за человек... По-твоему, я шальной заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотничьей части... А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и собак никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадики, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

– Я понимаю, Егор Власыч.

– Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься...

– Я... я не плачу... – говорит Пелагея, отворачиваясь. – Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, прожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас ни разу любви не было!.. Я... я не плачу...

– Любви... – бормочет Егор, почесывая руку. – Никакой любви не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, не понимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотничьей части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь... Где же тут пара?

– Да ведь венчаны, Егор Власыч! – всхлипывает Пелагея.

– Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил... Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйти, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь... бейся об стену...

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

– Чем живешь? – спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

– Таперь на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

– Тэк...

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь...

– Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили, – говорит Пелагея.

Егор молчит.

– Стало быть, она вам по сердцу...

– Счастье уж твое такое, судьба! – говорит охотник, потягиваясь. – Терпи, сирота. Но, иначе, прощай, заболтался... К вечеру мне в Болтово поспеть нужно...

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

– А когда же в деревню придете? – спрашивает она тихо.

– Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный... Прощай!

– Прощайте, Егор Власыч...

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед... Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской... Взгляд ее бежит по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его... Он, словно чувствуя этот взгляд, останавливается и оглядывается... Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами.

– На тебе! – говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.

– Прощайте, Егор Власыч! – говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге... Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги не видимы, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но... вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу и картузик исчезает в зелени.

– Прощайте, Егор Власыч! – шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидеть белый картузик.

Жених и папенька (Нечто современное)

– А вы, я слышал, женитесь! – обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. – Когда же мальчишник справлять будете?

– Откуда вы взяли, что я женюсь? – вспыхнул Милкин. – Какой это дурак вам сказал?

– Все говорят, да и по всему видно... Нечего скрытничать, батенька... Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем! Хе-хе-хе... По всему видно... Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете... Гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете... Всё видим-с! Намедни встречается мне сам Кондрашкин-папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба... Что ж? Дай бог! Не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина... Ведь семь дочек у бедняги! Семь! Шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить...

«Чёрт побери... – подумал Милкин. – Это уж десятый говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили, чёрт их возьми совсем! Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой... Не-ет, пора уж прекратить эти толки, пора, а то того и гляди, что женят, анафемы!.. Схожу завтра объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и – айда!»

На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.

– Петру Петровичу! – встретил его хозяин. – Как живем-можем? Соскучились, ангел? Хе-хе-хе... Сейчас Настенька придет... На минутку к Гусевым побежала...

– Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне, – пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз, – а к вам... Мне нужно поговорить с вами кое о чем... В глаз что-то попало...

– О чем же это вы собираетесь поговорить? – мигнул глазом Кондрашкин. – Хе-хе-хе... Чего же вы смущены так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью! Знаю, о чем это вы хотите поговорить! Хе-хе-хе... Давно пора...

– Собственно говоря, некоторым образом... дело, видите ли, в том, что я... пришел проститься с вами... Уезжаю завтра...

– То есть как уезжаете? – спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.

– Очень просто... Уезжаю, вот и всё... Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство... Дочери ваши такие милые... Никогда не забуду минут, которые...

– Позвольте-с... – побагровел Кондрашкин. – Я не совсем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать... можете вы делать всё, что вам угодно, но, милостивый государь, вы... отвиливаете... Нечестно-с!

– Я... я... я не знаю, как же это я отвиливаю?

– Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг, на тебе, уезжаю!

– Я... я не обнадеживал.

– Конечно, предложения вы не делали, да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку... да нешто всё это просто делается? Женихи только ежедневно обедают, а не будь вы женихом, нешто я стал бы вас кормить? Да-с! Нечестно! Я и слушать не желаю! Извольте делать предложение, иначе я... тово...

– Настасья Кирилловна очень милая... хорошая девица... Уважаю я ее и... лучшей жены не желал бы себе, но... мы не сошлись убеждениями, взглядами.

– В этом и причина? – улыбнулся Кондрашкин. – Только-то? Да душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец! Зелень, зелень! Как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу... хе-хе-хе... в жар даже бросает... Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости и сгладятся... Мостовая, пока новая – ездить нельзя, а как пообъездят ее немножко, то мое почтение!

– Так-то так, но... я недостойн Настасьи Кирилловны...

– Достоин, достоин! Пустяки! Ты славный парень!

– Вы не знаете всех моих недостатков... Я беден...

– Пустое! Жалованье получаете, и слава богу...

– Я... пьяница...

– Ни-ни-ни!.. Ни разу не видал пьяным!.. – замахал руками Кондрашкин. – Молодежь не может не пить... Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого...

– Но ведь я запоем. Во мне наследственный порок!

– Не верю! Такой розан, и вдруг – запой! Не верю!

«Не обманешь чёрта! – подумал Милкин. – Как ему, однако, дочек спихнуть хочется!»

– Мало того, что я запоем страдаю, – продолжал он вслух, – но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру...

– Милаша, да кто же их не берет? Хе-хе-хе. Эка, поразил!

– И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решения моей судьбы... Я скрывал от вас, но теперь вы должны всё узнать... Я... я состою под судом за растрату...

– Под су-дом? – обомлел Кондрашкин. – Н-да... новость... Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь... А вы много растратили?

– Сто сорок четыре тысячи.

– Н-да, сумма! Да, действительно, Сибирью история пахнет... Этак девчонка может ни за грош пропасть. В таком случае нечего делать, бог с вами...

Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе...

– Впрочем, – продолжал Кондрашкин, немного подумав, – если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение!

«Экий чёрт несговорчивый! – подумал Милкин. – За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть».

– Но это не всё... – продолжал он вслух. – Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог.

– Всё равно! Одно наказание!

– Тьфу!

– Чего это вы так громко плюете?

– Так... Послушайте, я вам еще не всё открыл... Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни... страшную тайну!

– Не желаю я знать ваших тайн! Пустяки!

– Не пустяки, Кирилл Трофимыч! Если вы услышите... узнаете, кто я, то отшатнетесь... Я... я беглый каторжник!..

Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал.

– Не ожидал... – промычал он. – Кого согрел на груди своей! Идите! Ради бога уходите! Чтоб я и не видел вас! Ох!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.